

В ссылке

Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра; остальные три перевозчика находились в избе. Семен, старик лет шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян; он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштоф, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет двадцать пять, не больше, а теперь, при свете костра, он, бледный, с печальным болезненным лицом, казался мальчиком.

Оно, конечно, тут не рай, говорил Толковый. Сам видишь: вода, голые берега, кругом глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на реке лед идет, и утром нынче снег был.

Худо! худо! сказал татарин и огляделся с испугом.

Шагах в десяти текла темная холодная река; она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют карбасом. Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно...

Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него, такая же чернота кругом, но чего-то недостает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо.

Худо! худо! повторил он.

Привыкнешь! сказал Толковый и засмеялся. Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастней тебя человека нет, а придет время, сам скажешь: дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода и поставим тут паром, вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить от берега к берегу. Уж двадцать два года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой, а я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.

Татарин подложил в костер хворосту, лег поближе к огню и сказал:

У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали.

А на что тебе мать и жена? спросил Толковый. Одна глупость, брат. Это тебя

бес смущает, язви его душу. Ты его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло: не желаю! Он тебе насчет воли, а ты упрись и не желаю! Ничего не надо! Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!

Толковый потянул из бутылки и продолжал:

Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания, а дьячковский сын и, когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву жрать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо и никого я не боюсь, и так себя понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся: ничего не хочу! Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуясь. А ежели кто даст поблажку бесу и хоть раз послушается, тот пропал, нет ему спасения: завязнет в болоте по самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат, глупый мужик, но и благородные и образованные пропадают. Лет пятнадцать назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальшь сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может, и просто из чиновников кто его знает! Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. Хочу, говорит, своим трудом жить, в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец. Что ж, говорю, помогай бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый; сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и верхом верст за шестьдесят ездил. Только вот беда: с первого же года стал ездить в Гырино, в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег! Не надо, говорю, Василий Сергеич, денег. К чему они? Вы старое-то бросьте, забудьте, как будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сызнова. Не слушайте, говорю, беса, он до добра не доведет, в петлю затянет. Теперь вы денег желаете, говорю, а пройдет мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потом и еще и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то पहले всего ничего не желайте. Да... Уж ежели, говорю ему, нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней. А то она сама насмеется. Так и говорю ему... Года через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. Еду, говорит, в Гырино жену встречать. Пожалела, говорит, меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая. А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Дама молодая, красивая, в шляпке; на руках младенчик-девочка. И всякого багажу много. А Василий Сергеич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. Да, брат Семен, и в Сибири люди живут! Ну, думаю,

ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай, каждую неделю, стал он в Гырино наведываться: не пришли ли из России деньги. Денег-то понадобилось пропасть. Она, говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит и, говорит, со мной мою горькую долю делит, и через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие... Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и с шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо, да чтоб и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване, чтоб она издохла... Роскошь, одним словом, баловство. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овоща, ни фрукта, кругом необразованные да пьяные, никакого обхождения, а она дама балованная, столичная... Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец не та честь. Года через три, помню, ночью под самый Успеньев день кричат с того берега. Пошел я туда на пароме, гляжу барыня, вся окутавшись, а с ней молодой господин, из чиновников. Тройка... Перевез я их сюда, сели и поминай, как звали! Только их и видели. А под утро Василий Сергеич скачет на паре. Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках? Проезжала, говорю, ищи ветра в поле! Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться о доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Смеюсь и припоминаю ему: И в Сибири люди живут! А он еще пуще бьется... Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась, и его, значит, туда потянуло, чтоб ее повидать и от любовника вызволить. И стал он, братец ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Всё прошения посылал и подавал, чтоб его помиловали и назад домой вернули, и сказывал он, на одни телеграммы у него рублей двести пошло. Землю продал, дом жидам заложил. Сам поседел, сгорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазах. Промаялся так с прошениями годов восемь, а теперь опять ожил и веселый стал: новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла. Глядит на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себе: красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком, она смеется, а он с нее глаз не сводит. Да, говорит, Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верст не сыщешь. Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно... А сам про себя думаю: Ужо погоди... Девка она молодая, кровь играет, жить хочется, а какая тут жизнь? И стала, брат, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболела и теперь без задних ног. Чахотка. Вот тебе и сибирское счастье, язви его душу, вот тебе и в Сибири люди живут... Стал он всё по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за

двести или за триста есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Страсть сколько денег на докторов ушло, а уж по-моему лучше пропить эти деньги... Всё равно помрет. Помрет она всенепременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, плетей попробует...

Хорошо, хорошо, пробормотал татарин, пожимаясь от озноба.

Что хорошо? спросил Толковый.

Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, зато он видал и жену и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего худо! Жена прожила с ним три года это ему бог подарил. Ничего худо, а три года хорошо. Как не понимать?

Дрожа, с напряжением подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле, что если бы жена приехала к нему хотя на один день и даже на один час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы бога. Лучше один день счастья, чем ничего.

Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена, потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семена, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его два брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все три брата, а дядя, богатый человек, остался дома.

Привы-ыкнешь! сказал Семен.

Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь; лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он всё еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости, около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, чему-то усмехнулся и затянул вполголоса песню. Что ей за радость с отцом-то? проговорил он, немного погодя, Он ее любит, утешается, это точно; но, брат, тоже пальца в рот ему не клади: строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна... Им нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да помада. Да... Эх, дела, дела! вздохнул Семен и тяжело поднялся. Водка вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат...

Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене; приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад! Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить?

Если нет чего-чего кушать, то как живи? спросил вслух татарин.

За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только десять

копеек в сутки; правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой, а татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно... Теперь бы, когда всё тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу; здесь тоже нечем укрыться, но всё же можно хоть костер развести...

Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны, и татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только семнадцать лет; она красивая, избалованная, застенчивая, неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыню? Нет, об этом даже подумать страшно...

Уже светало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на воде и зыбь, а назад оглянуться там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи. Рыжий глинистый обрыв, баржа, река, чужие, недобрые люди, голод, холод, болезни быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, всё это только снится, думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп...

Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется; а в соседней комнате мать... Однако, какие бывают страшные сны! К чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга?

Шел снег.

Подава-ай! кричал кто-то на той стороне. Карба-а-ас!

Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваные тулупы, бранясь хриплыми спросонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас... Татарин и три перевозчика взяли за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни, Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне всё еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак.

Ладно, успеешь! проговорил Толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить всё равно, мол, толку не выйдет.

Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника, и только по тому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно, враз, взмахивали веслами; Толковый лежал животом на руле и, описывая в

воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках похоже на то, как будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже слышали стук и мерное плесканье весел и кричали: Скорей! скорей! Прошло еще минут с десять, и баржа тяжело ударилась о пристань.

И всё оно сыплет, и всё оно сыплет! бормотал Семен, вытирая с лица снег. И откуда оно берется, бог его знает!

На той стороне ждал худощавый, невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал:

Спешу в Анастасьевку. Дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили.

Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеичем, всё время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку; когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил:

И в Сибири люди живут. Живу-ут!

На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал.

Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие.

Грязно теперь ехать, Василий Сергеич, сказал он, когда на берегу запрягали лошадей. Погодили бы ездить еще недельки с две, пока суше станет. А то и вовсе бы не ездили... Ежели бы толк какой от езды был, а то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят, и днем и ночью, а всё никакого толку. Право! Василий Сергеич молча дал на водку, сел в тарантас и поехал дальше.

Вот, за доктором поскакал! сказал Семен, пожимаясь от холода. Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай чёрта за хвост, язви твою душу! Экие чудаки, господи, прости меня грешного!

Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил:

Он хорошо... хорошо, а ты худо! Ты худо! Барин хорошая душа, отличный, а ты зверь, ты худо! Барин живой, а ты дохлый... Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего,

значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего и тебе ничего... Ты камень и бог тебя не любит, а барина любит!

Все засмеялись; татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку. Холодно! прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которою был покрыт сырой глинистый пол.

Да, не тепло! согласился другой. Жизнь каторжная!..

Все улеглись. Дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лень.

А мне хорошо! проговорил Семен засыпая. Дай бог всякому такой жизни.

Ты, известно, семикаторжный. Тебя и черти не берут.

Со двора слышались звуки, похожие на собачий вой.

Что это? Кто это там?

Это татарин плачет.

Ишь ты... Чудак!

Привы-ыкнет! сказал Семен и тотчас же заснул.

Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась не затворенной.